

О том, как отец-крестьянин стал первым заместителем Андропова, а сын вбивал в стул учителя патефонные иглы

<http://oralhistory.ru/talks/orh-1813>

🎙 20 января 2015

Собеседник

Виноградов Игорь Иванович

Ведущий

Голицына Екатерина Андреевна

Дата записи

Беседа записана 20 января 2015 и опубликована 14 июля 2016.

Введение

В первой беседе филолог Игорь Виноградов рассказывает о своей семье, которую, используя определение Достоевского, называет «случайным семейством». Виноградов вспоминает о своем отце, деде и прадеде, который однажды пешком пришел в Ленинград. Мы узнаем о стремительной партийной карьере его отца и позднем разочаровании в деле всей жизни в годы оттепели. Рассказывая о своем детстве и отрочестве, Виноградов делится историями из жизни городской и сельской шпаны, вспоминает об уличном воспитании и уличных нравах того времени.

Игорь Иванович Виноградов: Наверное, начать нужно с того, что я родился и вырос в семействе, которое лучше всего, наверное, определить термином, возникшим в совершенно другое время, по отношению к другим явлениям. Термином, который дал Достоевский: «случайное семейство». Семейство, в котором я вырос, было действительно «случайным семейством», в том смысле, что у этого семейства не было длинных корней в прошлом, родословной, генеалогии, не было традиций, которые шли бы откуда-то из предыдущих поколений. Это семейство образовалось совершенно случайно и несло на себе все черты «случайного семейства».

Деревня Уменицы и прадед Игнат

Отец мой родился и раннее детство и отрочество провел в деревне Уменицы Тверской губернии. Базаров гордился тем, что его дед пахал землю, вот и я могу сказать, что мой отец пахал землю, потому что он был крестьянский сын, тащивший на себе какое-то время семью. Потому что его отец, мой дед Тихон, был взят на Первую мировую войну в 1914 году, когда отцу моему было девять лет. И в первый же год он был убит. Семья осталась на моего прадеда, деда моего отца, деда Игната... Мы его так звали, «дед Игнат», и в какой-то мере на отца, потому что с десяти, с одиннадцати, с двенадцати лет он уже был включен полностью в бытовую жизнь семьи и должен был думать о том, как помогать матери.

Деревня Уменицы, по легенде, получила свое название от того, что в этой деревне укрывались умные мужики, крестьяне, сбжавшие от своих помещиков. Дело в том, что регион, где расположена эта деревня, всегда принадлежал государству, и крестьяне там никогда не были помещичьими, а всегда были государственными. Туда помещичьи крестьяне и сбегали, в деревню, которая находилась в довольно глухом месте, вдалеке от железнодорожных станций, километрах в тридцати или сорока. Ближайшее село с храмом было в пяти километрах, так что там обосноваться можно было. Деревня была большая, храма не было, но была школа, так что можно себе представить, что поселение было достаточно значительное.

Я знаю родословную свою с этой стороны только вплоть до прадеда, до деда Игната, который остался главной силой в семье после гибели моего деда. Деда Игната я очень хорошо помню, потому что меня родители, после того как я родился (а родился я в Ленинграде), очень часто отправляли летом к бабушке в деревню. Я вспоминаю такую картину — она у меня просто перед глазами стоит — большой-большой стол в избе, во главе сидит дед Игнат. Он был маленький, сухонький старичок с белым венчиком седых волос, плешивый, как и отец мой. И очень много детей за столом, я уж не помню, кто это были. Какие-то, видимо, двоюродные или троюродные родственники или племянники...

Екатерина Андреевна Голицына: А семья большая была?

И.В.: Семья была небольшая. Когда погиб Тихон, мой дед, он оставил двух детей. Старший был мой отец и еще его сестра, тетя Шура, младше его на несколько лет. Бабушка Дуня, мать отца, прадед Игнат, отец и его сестра — вот все семейство. Но, видимо, за этим столом собиралось очень много ближайшей родни.

” Я очень хорошо помню, как дед Игнат сидит во главе стола и бдитительно следит за тем, чтобы все дети выполняли правила еды.

А правила были такие: общая миска, общий горшок со щами, скажем. И дети по очереди оттуда достают и хлебают.

Е. Г.: Это вы видели?

И. В.: Это я видел. Мне, как городскому ребенку, была поставлена отдельная мисочка.

Е. Г.: Деревянными ложками ели?

И. В.: Сейчас не помню, наверное, деревянными. А дети все остальные по очереди должны были из этой общей миски свою порцию прихлебывать. И дед Игнат, когда кто-то вдруг пытался без очереди влезть, деревянной ложкой хлопал по лбу и говорил: «Манька! В очередь!»

Е. Г.: Прелесть!

И. В.: Это я очень хорошо помню. Дед Игнат был забавным человеком. Он дожил почти до ста лет, и когда мои родители уже были в Ленинграде, как они оказались в Ленинграде, я расскажу, он предпринял путешествие в Ленинград из Умениц. Пришел пешком, босиком или в лаптях, а сапоги с собой на веревочке, за спиной. Недели две он прожил у мамы с отцом в Ленинграде. У них уже была своя комната... И целыми днями бродил по городу, потому что ему было безумно интересно. Никак не мог найти место, где можно, простите, пописать. И однажды забрел под какой-то мост (*смеется*), чтобы справить нужду, где его захватил милиционер. В общем, обошлось все более-менее нормально, потому что он, видимо, понял, что за дед, откуда он явился, и что не знает правил поведения в городе. Но однажды дед Игнат пришел совершенно потрясенный, вернулся из своего путешествия по городу и сказал маме: «Асенька...» Оказалось, что он забрел в Казанский собор. А Казанский собор в то время был Музеем атеизма, где были выставлены боги всех времен и народов. И вот он вернулся когда домой, сказал: «Асенька, какой я грешник-то, оказывается! Я же не знал, что столько богов! А я все время молился одному!» Благополучно, тем не менее, это путешествие обошлось, он вернулся в Уменицы и дожил там почти до ста лет.

Учеба отца и знакомство с будущей женой

Отец, оставшись без отца, без деда Тихона в девять лет, окончил начальную школу, которая была в самих Уменицах. Потом ходил за пять километров в Покров, ближайшее село, где был храм и где была школа уже средняя. Кончил там среднюю школу, и бабушка его отправила в Бежецк, в педучилище. Он поступил и окончил педучилище. Там же встретил мою маму. Поженились они позднее. Она тоже окончила педучилище. Но я к ее истории немножко позже вернусь. После окончания педучилища он какое-то время преподавал в одном из районных центров, Красном холме. А потом поехал в Ленинград, где поступил в пединститут имени Герцена. Сначала на юридический факультет, потому что он был уже в то время пламенным комсомольцем и хотел пойти по стопам Ленина. Но в конце концов юридический факультет ему показался неинтересным, он перешел на философский и окончил философский факультет Герценовского пединститута... Или философское отделение — не знаю уж, как назвать. После этого они поженились с мамой, он стал редактором молодежной газеты ленинградской, получил комнату, где они стали жить и где на свет появился и я, и через какое-то время вернулся в пединститут уже деканом философского факультета.

Что касается линии матери, то тут мои знания в отношении ее предков, ее родословной еще меньше. Со стороны отца я знаю только деда Игната, и все. А дальше — провал. Откуда, что и как — ничего не помню, не знаю. Надо было в свое время, наверное, поспрашивать и мать, и отца... Но тогда это казалось не так важным. Сейчас я дорого бы дал, если бы мог что-то узнать более подробно. У матери родословная вообще нулевая. По легенде — а мать склонна была к мифотворчеству — она рассказывала, что, якобы, я говорю «якобы», потому что не уверен в подлинности этих сведений родилась в результате, как бы это сказать, незаконной любви некоего инженера, который работал в Бежецке, и учительницы, тоже бежецкой, которая стала ее матерью. Ее отец, инженер, был, как она говорит, татарин из рода Гиреев. И он, забрав ее мать, уехал с нею строить КВЖД. А после революции они очутились в Харбине. Мать говорит, что приезжала оттуда ее сестра, которая появилась уже в Харбине, пытаясь наладить отношения. Но ничего не получилось: они очень боялись, естественно, всяких связей с заграницей. Насколько это соответствует действительности — понять трудно. Но то, что у матери была татарская кровь, несомненно. Она по внешнему облику была немножко скуластая. И я на себе это чувствую, потому что вся моя растительность — она построена на моем лице так, как это бывает именно у татар. Щеки чистые, а если отпускать бороду, она была бы реденькая, длинненькая, хвостиком.

Когда родители матери уехали на КВЖД, а потом уже в Харбин, они отдали мать на воспитание в знакомую семью к местному обывателю по фамилии Круглов. Отсюда у матери официальная фамилия Круглова. И вот она росла в этом семействе, и надо сказать, что была, видимо, способной девочкой, кончила не только начальную, но и среднюю школу. И в Бежецке ее отправили в педучилище. Она кончила педучилище, вместе с отцом уехала в Ленинград. Там поступила тоже в Герценовский пединститут на историческое отделение, кончила его, была преподавательницей истории. Там они и поженились. Я появился на свет в 1930-м году.



Игорь Иванович Виноградов, Александровский сад, 11 марта 1933 года

Первые впечатления в жизни

Я был не первый ребенок. Первый ребенок, как мать рассказывает, умер при родах, и поэтому они всё — и отец и мать — тряслись надо мной.

”

Мать рассказывала, что, когда отец узнал диагноз, который поставил семейный врач — был такой доктор Кубик, — о том, что мне нужно ходить обязательно на какие-то облучения... Не знаю, что это такое было, потому что, как у всех ленинградских детей, у меня были признаки рахита. Отец жутко рыдал, когда вез меня обратно на саночках, что сын его рахитик.

Но потом успокоился, ему объяснили, что ничего страшного нет, что это пройдет... Но был такой страх. Он вез меня на саночках, которые были сделаны из нормальных санок, оббитых фанерой, так что это было что-то типа маленькой кареты. Я сидел в этой карете.

Отец мной занимался довольно много. Я плохо помню раннее детство, только какие-то отдельные картинки в памяти возникают. Может быть, стоит все-таки их как-то выстроить, потому что что-то, может быть, исторически характерное в этом есть. Одна из первых картинок, которые встают в памяти из раннего детства, это мы идем в очень большой толпе — это была, видимо, демонстрация. Это 1934 год, убийство Кирова. Я сижу на плечах у отца и вижу: где-то наверху, на возвышении, стоит гроб. Было ли это на улице или в каком-то зале — я сейчас не помню. Но у меня было ощущение, что это на улице. И вот идет толпа, демонстрация — я уже знал, что какой-то Киров, что его убили, но это были самые смутные и туманные представления.

Я помню еще какие-то вещи, характерные, может быть, для того времени. Помню вечер, представление, которое было затеяно то ли у отца в пединституте, то ли в школе, где преподавала мать. Одно из тех представлений, которые часто были в то время, когда на сцене выстраивались молоденькие физкультурники, ходили там под знаменами и выполняли всякие маршевые действия. Это было тоже такое представление, где ведущая организовала шеренгу, выводила ее на сцену, и эта шеренга маршировала. А я, как самый маленький, самый младший, должен был быть командиром этой шеренги. Эта ведущая сказала, что, когда выведет эту шеренгу, этот отряд на сцену и поставит ее, я должен присесть и отдать честь. Что я и выполнил совершенно послушно. Когда шеренга выстроилась, я вышел вперед, повернулся задом к залу, присел и отдал честь моему отряду. За что немедленно был поднят этой ведущей, она пересадила меня и сказала, чтобы я отдавал честь в зал, публике, и потом очень долго выговаривала мне, что я так поступил. Я был абсолютно уверен, что сделал совершенно правильно, хотя мне было лет пять, не больше. Я возражал: «Как же так? Кому же я честь-то отдаю? Я должен отдавать честь своему отряду!»

Вспоминая этот эпизод, я понимаю, что даже в таком еще младенческом, в сущности, возрасте, амбиции некоторые и самостоятельность суждений и поступков во мне уже начали проявляться.

У меня няней была девушка Таня, которая была выписана из Умениц, приехала и нянчила и потом оставалась всю жизнь няней в семействе. Я помню, как Таня ведет меня по улице около Дворца труда в Ленинграде... А жили мы на улице, которая тогда называлась Красная, теперь она называется Галерная, в типичном ленинградском доме с глубоким двором-колодцем.

”

Мы идем, на мне надето пальтишко, шубка какая-то, и болтаются варежки на веревочках, чтобы не потерялись. И Таня меня заставляет их надеть. А я говорю: «Нет, я не надену: я герой!» Я себя чувствовал «героем», начиная с четырех лет, и всячески пытался доказать всем, кому только можно, что я сам по себе, у меня своя жизнь.

Это проявилось и в дальнейшем. Сейчас я просто закончу рассказ о моих предках.

Партийная карьера отца

Оставшись без мужа, бабушка Дуня, моя бабушка, и дед Игнат, они сделали все, чтобы семейство можно было поднять и выучить, они действительно подняли семейство, сохранили его. И хозяйство было крепкое, хотя без главного кормильца. Настолько крепкое, что во время коллективизации бабушку с дедом Игнатом пытались раскулачить, хотя там ничего близкого даже у них не было. *(Усмехается.)* Как-то удалось от этого, видимо, избавиться, никаких репрессий не было, и семейство продолжало существовать, а отец — учиться и делать карьеру.

Тетя Шура, сестра его, моя тетка, так и осталась деревенской женщиной, жила всю жизнь с бабкой в Уменицах, не получила никакого образования. Очевидно, все силы ушли на то, чтобы получил образование отец. Отец был способным, я бы даже сказал, талантливым человеком, совершенно несомненно, что очень видно уже из начальной поры его жизненного пути, когда он сумел стать деканом философского факультета. И дальнейшая его судьба и дальнейшая его карьера тоже была показательна для того времени...

Я думаю, что и в царские времена, и в старой России крестьянские дети имели возможность получать высшее образование. Но то, что советская власть, несомненно, открыла эти возможности...



На примере отца это хорошо видно, и отец всегда считал и говорил позднее, что «если бы не советская власть», он никогда не стал бы тем, кем стал.

Он был членом партии, естественно. И в 1936-м или 1937 году, я сейчас точно не помню, или в 1935-м, когда были организованы машинно-тракторные станции, началась коллективизация, он был по партийной мобилизации освобожден от должности декана *(смеется)* и отправлен начальником политотдела МТС в Саратовскую область, в село Новорепное — это на границе Саратовской области и Казахстана. Политотделы МТС, через год или два, были преобразованы в райкомы партии, и он стал первым секретарем райкома партии. Пробыл там года два или три. А в 1937 году был взят в обком партии саратовский, поначалу в качестве заведующего отделом школ и науки, а потом он стал секретарем обкома по пропаганде и агитации, как человек с философским образованием. А в 1943-м был переведен в Молотов, нынешняя Пермь, где я почти закончил школу. Потом был взят в Центральный комитет партии.

И самая большая его карьерная должность — он был первым заместителем заведующего международным отделом ЦК партии социалистических стран. Заведующим был секретарь ЦК, господин Андропов.



Е.Г.: Ничего себе!

И.В.: Потом он какое-то время работал в Праге, в журнале «Проблемы мира и социализма», был ответственным секретарем. Потом — проректором Высшей школы для иностранцев в Москве, — в общем, карьера для крестьянского паренька незаурядная и свидетельствующая о том, что у него были серьезные задатки. Он был действительно образованным человеком. У него была абсолютно интеллигентная речь, но иногда с какими-то странными вкраплениями, вроде километров, еще какие-то неточные акцентировки. Но речь абсолютно интеллигентная. Он всегда делал, как и полагалось секретарю по пропаганде во время торжественных праздников, доклады на общегородских собраниях. Сталин делал доклады, скажем, в дни Октябрьской революции в Москве, а по всем областям секретари

обкомов должны были делать такие доклады у себя.

” Кончил он человеком, совершенно разочаровавшемся в том, чему служил всю жизнь, уже во времена Хрущева, во времена «оттепели». Это было время, когда мне уже неинтересно было с ним спорить, потому что то, что он понял в конце жизни, я понял значительно раньше. И это был уже не предмет для обсуждения. Отец пылал негодованием по поводу того, что сделали со страной, что делает «этот кукурузник».

Так он и ушел из жизни разочарованным коммунистом, продолжавшим оставаться коммунистом, каким он и был всю жизнь. Мать мне рассказывала, что, когда мы жили в Новорепном.

” Однажды, когда через Новорепное гнали целый обоз раскулаченных крестьян, отец, стоя у окна, наблюдая эту картину, сказал: «Вот если бы была какая-то партия против Сталина, я бы первый в нее вступил». Крестьянская кровь не позволяла ему смириться с этим безобразием.

. Так или иначе, он все-таки с этим смирился, как очень многие в то время, считая, что при этих ошибках делается великое дело, и он обязан ему служить. Должен сказать, что я и отцу, и матери очень благодарен... Отец был в жизненном, в бытовом плане человеком очень чистым. Никогда не было никакого хапужничества, интереса к материальному обогащению. Жили мы всегда очень скромно, хотя эта скромность, по сравнению с тем, как жили окружающие, была, конечно, эксклюзивом. Тем не менее ничего похожего на жизнь «золотой молодежи», которую я тоже повидал вокруг себя в обкомовской среде, у нас в семье не было. И то, что этого не было, — это, конечно, заслуга отца и матери. Мать работала до последнего времени, до Молотова, преподавателем истории, потом стала просто домохозяйкой.



Игорь с мамой, Новорепное, сентябрь 1936 года

Дворовое воспитание и проявления характера

Как строилась моя жизнь? Это тоже, наверное, может иметь социологический, исторический интерес и в какой-то мере типично для того времени. Наверное, это стоит рассказать. Что касается раннего детства, повторяю, это какие-то отдельные картинки, которые возникают у меня из ленинградской жизни. Еще такая картинка, забыл о ней рассказать: экскурсия. Я с матерью и группой взрослых людей в Русском музее. И мы стоим напротив картины Брюллова «Последний день Помпеи», это мне рассказывала мать, сам я этого не помню, экскурсовод, рассуждая о картине, показывает на фигуру женщины, которая оглядывается на этот ужас, и спрашивает у группы: «Как вы думаете, что Брюллов изобразил в этом персонаже: удивление или страх на ее лице?» Кто-то говорит, что удивление, кто-то говорит, страх. И вдруг раздается мой голосочек, который говорит: «А я думаю, что и то, и другое!». *(Смеется.)* Я вам рассказываю об этом, потому что мне любопытно, как проявлялась уже в детстве эта наглость самоуверенности и самодостаточности, так сказать. Заявление своего права на свое мнение, на свою жизнь. Я рассказываю об этом потому, что эта черта потом проявилась очень основательно.

Она уже и в Новорепном была, хотя там я был, в общем-то, мелюзгой, но ватага сельской шпаны, к которой я принадлежал, определяла жизнь свою сама, от родителей совершенно независимо.



Это были ребята старше меня, лет девяти-десяти и больше, одиннадцати-двенадцати, которые были посвящены уже в отношения полов полностью. И я тогда уже, в какие-то пять или шесть лет, тоже все знал. Никаких проблем с этим и потрясений, откровений не было, потому что моя ватага во всяких ямах, буераках занималась воспроизводством этих взрослых отношений в открытую, что называется, на глазах у мелюзги.

Мы были совершенно к этому приучены, привычны, ничего необычного не было. Я помню, как года в четыре или пять я заявил родителям, что тоже хочу жениться. Я дружил с девочкой Леночкой, дочкой эмтээсовского шофера. И я потребовал, чтобы нам сыграли свадьбу. Родители жутко веселились по этому поводу, действительно, устроили нам какую-то веселую «свадьбу», после чего я сказал: «Ну вы же с мамой спите в одной постели — мы тоже будем с Леночкой спать!» Родители опять-таки, смеясь, разрешили нам это, совершенно не понимая, что позволяют то, чего позволять нельзя. Ну, это все было абсолютно безобидно. Абсолютно детская даже не шалость — а просто «как все». «Так поступают все, и я тоже, почему нет?»

И когда мы переехали в Саратов, я попал в такую же среду, но только городского типа. Там была ватага сельской шпаны, которая жила совершенно отдельно, своей жизнью. А тут была городская шпана, то есть мы жили на улице. Я не могу сказать, что семейство мной не занималось, нет, занималось. Они строили свою жизнь сами, как всякое «случайное семейство», они были интеллигентами в первом поколении, и поэтому, конечно, пытались то, что получили из чтения, из образования, воплотить в жизнь и по отношению ко мне. Меня учили играть на скрипке, я кончил музыкальную школу по скрипке потом. Читать выучился в четыре года. И читал, и писал. Но все это было мне неинтересно. Не могу сказать, что я любил читать. Нет. Я больше любил, чтобы мне читали. Вот тоже один из признаков «случайного семейства»: у нас никогда не было семейных чтений, таких, которые были в семье Достоевского, где отец или мать читали вслух «Историю государства Российского». Вообще, просвещение домашнее довольно основательно было там построено. У нас ничего этого не было. Отец вечно был на работе, мать тоже была занята. Я был предоставлен сам себе. Музыка я не любил, то есть не то что музыку не любил — я не любил учиться, для меня это было тягостно. И всеми способами, когда можно было этого избежать, старался избежать. Я хорошо очень помню, как однажды, когда на улице что-то было такое, где мне необходимо было быть, какая-то игра или еще что-то, пришла учительница музыки по скрипке, и я должен был ей играть. И я понял, что мне надо во что бы то ни стало от нее освободиться. Я начал жутко фальшивить, специально, чтобы она меня выгнала. *(Смеется.)* Она в конце концов не выдержала и выгнала меня, и я, счастливый, умчался в свою дворовую жизнь.

Дворовая жизнь была очень веселой, забавной. Потому что, скажем, зимой мы катались на коньках, занимаясь опасным делом: у нас были крючки сделаны из толстой проволоки, с привязанной на другом конце веревкой. Этот крючок забрасывался за борт проходящего грузовика, и мы на этой веревке за грузовиком, по заледенелым улицам... Довольно опасное занятие, можно было наскочить на булыжник и на что угодно. Мы так гоняли, это было очень интересно. Интересно было гонять на велосипедах летом. Неинтересно было заниматься тем, чем тебя заставляли заниматься дома.

Начало войны и сборы мальчишек на фронт

Как раз в это время, во время войны, прошел французский фильм «Три мушкетера». Все мальчишки сходили с ума: это был забавный комедийный фильм, где роли мушкетеров исполняли повара, тем не менее, нам это было безумно интересно. У нас немедленно тоже образовалась такая ватага, три мушкетера. Я был Д'Артаньяном, естественно, мои друзья были Портос, Атос и Арамис. Мы устраивали

сражения на шпагах. Такая была романтика. В это время я уже, конечно, «Трех мушкетеров» знал и вообще кое-что прочитал. Но это было уже во время войны. Я не помню, чтобы на меня произвело сильное впечатление начало войны. Была полная уверенность, что всё равно мы их разобьем...

Е.Г.: Страха не было?

И.В.: Нет, страха не было, хотя Саратов начали бомбить уже в 1942 году. Когда немцы подошли к Сталинграду, и началась Сталинградская битва, налеты на Саратов были довольно частые. Я очень хорошо помню такую картинку: мы живем летом на обкомовских дачах, это Игуменское ущелье, за Саратовом, довольно глубокая долина между сравнительно высоких приволжских гор. Однажды ночью мы с отцом выходим на балкон дачи на втором этаже, и я вижу, как по небу, прямо над нами, в разрывах туч и луны, летят эскадрильи немецких самолетов. Они идут в сторону Саратова, и там начинаются взрывы, потому что они пытались разбить мост через Волгу и бомбили «Крекинг», завод нефтяной. И вдруг в какой-то момент взметнулось огромное пламя — это загорелся один из баков. Как оказалось, отец потом мне рассказал, это было искусственно сделано. Пустой бак подожгли, почти пустой, чтобы немцев дезориентировать...

Е.Г.: Отвлекли.

И.В.: Создать впечатление, что они попали, куда хотели, и чтобы больше уже не бомбили. Маскировка удалась. Эти вот немецкие самолеты, которые летят надо мной, — я это запомнил.

Я запомнил, конечно, еще один эпизод, очень забавный, который произошел летом 1942-го, по-моему, года. Мы жили на даче, а на Лысой горе, за нашей дачей, были установлены зенитные батареи на всякий случай. И вот однажды мы играем около лестницы, которая спускается от дачи вниз, в долину. Мы играем с луками. И вдруг над Лысой горой появляется самолет, очень низко летящий, метров пятьдесят, наверное, от земли, и спускается в эту нашу долину. Он настолько был близко к нам, что я даже из лука попытался выстрелить в него и действительно, наверное, мог бы достать стрелой. Но когда я это сделал, я вдруг понял, что это немецкий самолет, потому что на крыльях кресты, а из-за стекла кабинки на меня смотрит смеющееся лицо летчика. В этот момент грохнул залп, потому что батарея зенитная наконец очухалась, и мы с испугу нырнули под лестницу. Вовремя, потому что еще через секунду или несколько секунд застучали осколки. Это могло быть смертельное занятие. Этот летчик улетел, больше таких эпизодов не было.

Мы занимались тем, что ходили по городу, осенью или зимой, и пытались выследить и поймать шпионов, которые должны были подавать какие-то знаки своим летчикам при помощи фонариков. Нам не удалось поймать ни одного шпиона, но зато моя ватажка «мушкетеров» готовилась удрать в Сталинград. Мы вырыли маленькую пещерку в крутом берегу Волги и таскали туда съестные припасы: колбасу, хлеб, спички, соль, — мы собирались угнать лодку и поплыть в Сталинград, защищать его своей грудью. Но этого тоже не произошло, мы прособирались, наступило лето 1943 года, отца перевели работать в Пермь, тогда Молотов, и вместо того чтобы плыть к Сталинграду, мое семейство, и я с ним, было погружено на теплоход Камского пароходства. В течение двух или больше недель мы плыли сначала по Волге, потом по Каме в Пермь, со всеми вещами.

Это было замечательное путешествие, поскольку отец был уже секретарем обкома в Перми, наше появление на теплоходе было, конечно, организовано, и капитан теплохода проявлял какое-то благорасположение к нам. Я часто бывал на капитанском мостике... Впервые я видел Волгу в таком виде, в каком ее можно увидеть только в верховьях или в середине, где и Жигули достаточно выразительные, гористая местность, в отличие от ровной полосы плоскостной берегов в низовьях Волги, в Саратове, где мы жили. Впечатления от Камы, которая оказалась шире даже, чем Волга — в своем устье, во всяком случае, — тоже были очень сильные. Очень хорошо помню, как то ли в Чистополе, то ли, может быть, в Елабуге теплоход делал остановку. На берегу был большой очень базар, и мы с матерью пошли покупать там что-то.



Я помню, какое впечатление на меня произвели шарики сливочного масла, положенные на капустные листья, на которых даже капли выступали, от такой свежести. Сливочное масло, которое я раньше терпеть не мог, в раннем детстве. И хотя мы никогда не испытывали проблем с едой, в отличие от моих товарищей, для меня это тоже было уже каким-то лакомством.

Этот образ свежего сливочного масла на покрытом росой листе капусты — запечатлелся яркой-яркой картинкой.

Первая любовь и тайное общество «Синие мечи»

Если вернуться в Саратов, нужно рассказать о том, что в Саратове я пережил свою первую в жизни любовь. В пятом классе я влюбился в девочку из параллельного класса, писал ей записочки, она мне тоже писала записочки, и я по всем кодексам шпанисто-рыцарской чести, который был нам свойственен, старался всячески опекать ее, ухаживать за ней.



Главным занятием в это время была жизнь наша мушкетерская и жизнь нашей тайной организации, которую мы назвали «Синие мечи».

Однажды отец пришел домой в сопровождении какого-то человека, вызвал меня в комнату и сказал: «Вот ты, Гарик... — В детстве меня звали Гариком. — Расскажи, пожалуйста, что это у вас за “Синие мечи” такие?» И этот человек меня довольно долго расспрашивал. Такая контрреволюционная организация была, я знал по одной из книг, то ли Овалова, то ли Шеина, не помню. «А что у вас контрреволюционного?..» — «Нет, просто красивое название, и мы решили сделать так». Слава богу, попался нормальный, видимо, энкавэдист, и ничего такого не последовало, но впечатление было не очень приятное. Тем не менее мы продолжали играть в эти «Синие мечи»...

Может быть, стоит рассказать о том, как я помню 1937 год. Я больше помню по тому, как рассказывала мне об этом мать. Мать говорила, что каждую ночь, когда раздавались шаги на лестнице — а мы жили в обкомовском доме, где жило все начальство обкомовское, как раз те годы, когда происходили аресты — она слушала эти шаги и боялась, не за отцом ли. Но как-то пронесло его: он не попал в эту мясорубку. Я думаю, что по алгоритму всех этих арестов, которые совершались по следующей схеме. Когда брали кого-то, скажем, из обкома, на его место брали кого-то из «нижних этажей». Так отец попал из райкома партии в обком, в обкоме из заведующего отделом школ и науки стал секретарем... Пронесло, что называется, хотя, видимо, какие-то настроения того типа, которые проявились, когда он стоял у окна в Новорепном и смотрел за обозом раскулаченных, у него были. На эти темы мы никогда не говорили, естественно, я этого ничего не знал. Не могу сказать, что со стороны отца и матери было какое-то «советское» воспитание. Скорее нет. Мушкетеры, «Синие мечи» — это все была дворовая романтика. Дворовая романтика, не имевшая никакой идеологической окраски. Война — это была война с фашистами, которые напали на нашу страну... Ничего специфически советского, коммунистического я не помню в своем восприятии. Я еще не был комсомольцем — это все позднее началось. Это уже Молотов, Пермь, где начинается совершенно другой этап моей жизни, отрочество.

Общественная работа, чтение и увлечение театром

Когда после двухнедельного примерно путешествия по Волге я оказался с семейством в Молотове, в Перми, я целое лето провел в Парке культуры и отдыха имени Горького, который находился прямо напротив нашего дома. Жили мы опять в особом доме, он в Перми назывался «дом чекистов». Это постройка 1930-х годов, конструктивизм. Ни мальчишеской среды никакой уже в это время не было, и я был обречен быть с самим собой, на одиночество. Это одиночество в парке я провел за чтением. Можно сказать, что мое увлечение чтением началось именно там. Я помню, что прочел за лето всего Тургенева. И это мне было очень интересно.

Так началась отроческая жизнь, началась школа, которая была мне уже интересна, в отличие от того, что было в Саратове. Я занимался общественной работой и спортом, был редактором школьной газеты, председателем совета отряда, что-то еще...

” В общем, у меня было много должностей, и однажды я услышал, как кто-то из пятиклассников за моей спиной восхищенно сказал: «Слушай, — какому-то своему приятелю, — у него должностей больше, чем у Сталина!»

Тем не менее, я не могу сказать, что это был фанатизм или оголтело погружен в мир «советскости». Хотя я уже в седьмом классе был комсомольцем, это как-то обычно было, все были комсомольцами, жизнь была не в этом. Не только в этом. Жизнь была в пионеротряде, где я был начальником, — это очень импонировало мне. В театральном кружке, где я занимался. Нашим руководителем был артист Пермского драматического театра, и мы ставили какую-то пьесу о Зое Космодемьянской. Я что-то такое там играл, и раньше даже: был театральным кружок, еще на предыдущем этапе, которым руководила учительница литературы, и она поставила «Моцарта и Сальери», где я играл Сальери, а мой приятель Моцарта. Вообще, было какое-то ощущение, что, может быть, это самое интересное, хотя потом я убедился, что никаких способностей артистических во мне нет, это не моя планида. Так же, как очень скоро убедился, хотя учился хорошо, без проблем, что не моя планида и математика. Потому что как-то однажды я попытался сходить на городскую олимпиаду и ушел оттуда с позором, не решив ни одной задачи. По математике у меня были тем не менее «пятерки», но в школьных пределах. Так что это были не мои интересы.

Зато я ходил в кружок изобразительного искусства, который вел ученик Репина, местный художник Гаврилов. Учился рисовать. Он мне даже говорил: «Из тебя получится хороший график». Что касается масла — это у меня тогда не получалось. А рисовать — действительно, я рисовал, и даже на конкурсе детских рисунков завоевал первое место с портретом отца. Однажды он приходил ко мне в больницу, я лежал в больнице со свинкой. И вот за этот набросок я получил первое место. Очень много и часто ходил в галерею художественную, которая расположена была тогда в большом соборе. По-моему, она до сих пор там расположена (*смеется*), так они и не построили отдельного здания.

Директором галереи был замечательный человек Николай Николаевич Серебренников, который открыл пермскую деревянную скульптуру. Выставка, вернее, экспозиция этой скульптуры была им организована в этой галерее. Но я занимался не столько этим... Он был очень расположен ко мне и помогал мне, дарил краски и все прочее, я просто ходил и изучал, можно сказать, живопись, и нашу, и западную. Галерея очень хорошая: там были представлены и крупные даже мастера, во всяком случае, можно было составить себе представление о том, как развивалась живопись, и западная, и русская живопись в XIX, XVIII, XVII веке, и даже Ренессанс. Это было серьезное самообразование, настоящее увлечение. Я много читал в это время.

И еще моим увлечением был театр. Это был Ленинградский театр оперы и балета имени Кирова, который был в эвакуации в Перми. Я стал страстным посетителем, благо у меня была возможность ходить в театр бесплатно, потому что у отца был абонемент как у секретаря обкома. Я всегда мог прийти, занять в директорской ложе. Я пересмотрел все балеты, я видел всех знаменитостей того времени: Семенову,

Балабину, Вечеслову, Сергеева, Дудинскую... Не пропускал, по-моему, ни одного спектакля.

Регулярно ходил на симфонические концерты, которые были по понедельникам в этом же театре. Это уже была жизнь увлечений, и я очень рад, что родители этому не препятствовали, а всячески помогали...

Я сейчас попробую воспроизвести некоторые эпизоды, о которых забыл рассказать и которые относятся к разному времени. Я отдельно о каждом расскажу, а там уж вы смонтируете.



На стройке МГУ, июль 1949 года

Выбор прадедом фамилии

Я говорил о «случайном семействе», что родители мои были интеллигентами первого поколения и что соединение их было, в общем-то, таким, какое бывает именно в «случайных семействах». Характерно, что и сама фамилия Виноградов тоже в какой-то мере — абсолютно случайная вещь. (*Смеется.*) Дело в том, что у крестьян этого района Тверской губернии, где расположены Уменицы, никогда фамилий не было. Но где-то в конце, видимо, XIX века или начале XX проходила перепись. Всех крестьян губернии переписывали, и они должны были себе выбрать фамилию, чтобы потом под ней числиться. Это был совершенно произвольный выбор. И вот три брата — мой прадед Игнат и два его брата, — выбирая, взяли три разных фамилии. Какой-то брат Игната взял фамилию Скоробогатов, второй брат взял, по-моему, фамилию Травин, а дед Игнат выбрал фамилию Виноградов. Так что моя фамилия — она тоже является атрибутом «случайного семейства».

Фотоаппарат и деревенский праздник на Ильин день

Рассказывая об Уменицах, я забыл рассказать о том, что мои связи с этим родовым гнездом, если можно так сказать, как-то очень забавно... не завершились, а продолжились. Когда я кончил уже в Москве школу и после окончания школы поступил в университет на филфак, и у меня был еще месяц или полтора свободных, отец и мать отправили меня с младшими детьми, с братом и сестрой в Уменицы на лето. У меня был маленький, примитивный довольно фотоаппарат, и там меня заставили применять этот фотоаппарат нещадно, потому что это было послевоенное время, 1948 год, только-только кончилась война.

” Когда местная публика, жители Умениц узнали, что у меня фотоаппарат, все просили меня непременно их сфотографировать. Мне это было нетрудно, я даже с удовольствием это делал и печатал фотографии. Но уменичане совершенно не хотели делать это бесплатно, они требовали, чтобы я что-то за это брал. Я решительно отказывался, и тогда мне приносили яйца.

К концу пребывания нашего в Уменицах, у меня набралась целая корзинка яиц, которыми я кормил своих младших и которые ел сам. В общем, мы приехали в Москву желтые, как китайцы. Схватили такую желтизну... (Смеется.) Но ничего, все обошлось.

С этим посещением родового гнезда связано еще одно забавное воспоминание. Престольный праздник в Уменицах был Ильин день. Хотя, как я сказал, в Уменицах храма не было, ходили в Покров. В этот праздник деревня праздновала так, как это и принято у них было: пила беспробудно.

” Для этого специально варилось пиво в огромных бочках, рядом с огромным мощным костром. Бочка заправлялась хмелем, чем-то еще, из чего варят пиво. А рядом, в костре, раскаляли булыжники. Бросали туда камни, и когда булыжник раскалялся буквально докрасна, щипцами вытаскивали его из костра и бросали в бочку. Бочка бурлила, и варилось таким образом пиво.

И вся деревня гуляла. А гуляла так. Во-первых, была водка, конечно. Её в это время спокойно можно было в магазине доставать или привозили откуда-то, я не помню. Самогон, естественно. И пиво это, густое, непрозрачное. Я помню, что первая стадия всенародного празднества была в соседнем доме. Происходило так. Выпивали все, что в доме есть. Шли в следующий. И так далее. Мы с моим дядей Ваней, мужем папиной сестры, пошли в соседний дом на празднование, и я решил про себя твердо, что я попробую. Мне было интересно: я — молодой, здоровый парень, даже немножко спортивный — сколько могу выпить? Перед этим у меня были какие-то опыты, естественно: я знал, что такое водка, знал, что такое вино. Но никогда этим не увлекался. А тут решил... Потому что послевоенная деревня — это деревня без мужиков, или мужики такие хиленькие, что молодому парню досадно, невозможно, стыдно соревноваться с ними. Но они же пьют. И почему я не могу? И я помню, что за этим столом я выпил несколько стаканов водки и около двадцати стаканов пива.

Е.Г.: Ничего себе! Герой...

И.В.: Это я помню. Да. (Смеется.) Но как я дополз после этого до своей избы — это я уже совершенно не помню. С помощью дяди Вани, естественно. Бабка меня отпаивала в течение трех дней. Я был просто при смерти. Как она меня отпоила — даже не знаю. Отпаривала какими-то травами. Я это помню просто как бред собачий. После этого у меня появилась идиосинкразия к пиву, что я в течение нескольких лет видеть не мог никакого пиво. Хотя потом, попробовав, по-моему, темного пива, снова пристрастился,

и сейчас пиво — один из любимых моих напитков. Но тогда это было окончание моего пребывания в родном гнезде. (*Смеется.*) Я понял, насколько я силен в этом деле. Мне это было важно понять, после этого я никогда этим не увлекался.

Чудесная елка и тазик тюльпанов

Теперь к тому месту, где я рассказываю о Новорепном. Новорепное — это село, которое стоит посреди степи. Кругом, насколько хватает глаз, огромная степь. Там выращивали лучшие, самые твердые сорта пшеницы, которые шли на экспорт. Поэтому придавалось этому району очень большое значение, Новорепнинскому. Это село стоит на маленькой речушке Узень, где начиналось, по-моему, восстание Пугачева. Я хорошо помню образ жизни посреди этой степи. Мы, мальчишки, и девочки тоже, занимались тем, что вылавливали сусликов из нор. Никаких деревьев в ближайшем окружении, в ближайших километрах от Новорепного не было. Только на Узени какой-то кустарничек, единственная зелень. Поэтому всякое дерево — это было чудо. И я очень хорошо помню, как в 1937 году мама уехала в Ленинград рожать мою сестру Галю. И привезла оттуда елку. Впервые в Новорепном у нас была елка. Это было такое чудо, что я хорошо помню, когда встречали Новый год, два окна нашего дома... Это был саманный дом, потому что там дерева не было, строили из подручного материала. А топили кизяками. Кизяки — это лепешки коровьи, которые мы каждую осень ездили на телегах по всей степи, где был выгон коров, собирать. Собирали, привозили к дому и складывали штабелями. В среднерусской деревне — поленицы дров, а там — штабеля кизяков. Кизяками топили. Когда у нас была елка, я помню окна нашего дома, облепленные детскими лицами. Вся деревня собралась смотреть на это чудо! Были вещи, которые я потом в жизни никогда не видел, только в Новорепном. Каждую весну мы уезжали на телегах километров за пять-шесть, в какие-то низины, которые были все усеяны тюльпанами. Вот это впечатление! Вся степь, насколько хватает глаз, — в тюльпанах. Тюльпаны самые разнообразные: желтые, красные, сиреневые, и какие-то мутанты, где один лепесток такой, другой — другой. Мы набирали букеты, даже не букеты, а мы с ведрами, с тазами ездили. И вот полный таз, полное ведро тюльпанов, потом в течение недели или двух цветы стояли в доме. Новорепное — это мир тюльпанов, мир бездеревья, мир степи, невероятно интересный.

Кодекс чести городской шпаны

Следующая тема, которую я забыл упомянуть, относится уже к саратовской жизни. Я говорил о том, что это была, в основном, уличная жизнь, и воспитывала меня не столько семья, сколько улица. А улица — я говорил — это была городская шпана. Учился я нормально. Мне трудности это не доставляло, за исключением чистописания. Это у меня никогда не получалось. А так я имел хорошие отметки. Претензий с этой стороны ко мне не было. Но мне это было неинтересно. А интересно было другое. Интересно было гонять на велосипедах, гонять с этими крюками за машинами, проявлять всяческое романтическое геройство. Любимое занятие было — удрать с уроков и пройти на улицу Кирова, которая называлась тогда Немецкая улица, от вокзала железнодорожного до Липок — по крышам домов. Где-то спускаясь, где-то поднимаясь, где-то перепрыгивая — это было одно из самых любимых занятий. Несколько раз мы это предпринимали, наша маленькая ватажка.

Это был мир городской шпаны. Чем мы только не занимались! Курили, естественно. Выдывали из кленовых веток трубочки, выдалбливали середину, потом собирали окурки, из окурков вытрясали туда, набивали эти «трубки» табаком и курили. Воровали.



Воровали даже друг у друга: это считалось геройством.

Я помню, как мы с моим приятелем у другого нашего приятеля, Гелика, — кстати, я сейчас расскажу и о

нем... Пришли, приятель его отвлекал, а я у него из альбома стащил марку, очень хорошую. Мать этого Гелия Павлова была директором нашей школы. Она меня потом вызвала и сказала: «Игорь, отдай». Я не отдал, по-моему. (*Смеется*.) Как-то это забылось, потому что это была нормальная вещь. Правда, я своровал у матери часы однажды, чтобы продать и купить на эти деньги марки. Но, к сожалению, это не удалось, потому что когда мы пошли на местный базар торговать часами, какой-то парень подошел и отобрал у нас часы (*смеется*), ничего не заплатив и пригрозив, что сдаст нас в милицию. Это было в порядке вещей. Курение, воровство...

Единственное отступление в моей жизни от этой целиком уличной жизни было однажды летом, когда мать отправила меня в пионерлагерь. Я один раз только был в пионерлагере. Но, должен сказать, что это не сильно отличалось от того, что было на улице. Мать, когда приехала туда проведать меня, спросила, как я тут живу и каким вещам научился. Я ей выложил весь мат (*смеется*), которому научился, честно выложил, потому что в нашей городской ватажке не очень это было принято, и не все я знал. А там я научился всему, и все это знал.

Вспоминаю... понятно, что со стыдом, то, каким я был тогда уличным зверенышем. У нас была своя система ценностная, что благородно, что неблагородно, что хорошо, что нехорошо, которая, конечно, ни в какую социальность не укладывалась. Повторяю: и курение, и воровство, и всяческое хулиганство на уроках — это была норма.

” Нам доставляло удовольствие в стул, на котором сидит учительница, вбить патефонные иглы, чтобы она села и вскочила. Или налить в чернильницу какой-нибудь гадости ей. А однажды мы... Какой-то портрет у нас висел, но, по-моему, не Сталина, а может быть, Сталина. Мы разрезали ему губы и вставили туда сигарету.

Но, слава богу, как-то обошлось. Хотя, вообще говоря, бдительность была невероятная в то время. Помню, как еще в первом классе, когда я пошел в школу, мама дала мне надеть рубашечку, косовороточку, вышитую ею самой: колоски ржи и васильки. Орнамент. Её вызывали в школу, потому что это был вредительский рисунок. Это сорняки, это пропаганда сорняков! Тем не менее, повторяю, все обошлось, и «Синие мечи» тоже, как-то пронесло.

Удивительный человек Аркадий Дмитриевич Швецов

Теперь кое-что я хотел бы добавить к рассказу о пермской жизни. Мы жили в «доме чекистов», я рассказывал, в этом доме жило все городское начальство, и там жил, в частности, генеральный конструктор пермского авиазавода. Пермь — это промышленный город, и в ней два огромных завода: завод авиамоторов и артиллерийский, так называемая, «Мотовилиха», который фигурирует в романе Веры Пановой «Кружилиха». И поэтому, как только мы приехали в Пермь, Молотов тогдашний, первое, что поразило, — то, что над городом постоянно стоит гул. Потому что испытывают моторы, завод расположен на окраине, но не так уж далеко от центра. И когда испытывают мотор, стоит мощный гул, непрерывный, днем, вечером и ночью, с небольшими перерывами, потому что работали круглосуточно. И время от времени, в течение дня раза три или четыре — это серии залпов, испытания... «Мотовилиха» расположена была на берегу Камы, и оттуда только что изготовленные пушки испытывались, стреляли. Полигон на том берегу Камы был. Это глубокий тыл, там не было маскировки, что тоже поразило сразу, как приехали: Саратов был весь затемнен. Это особенность пермской жизни.

Главным конструктором авиазавода был Аркадий Дмитриевич Швецов, автор-изобретатель знаменитой «звездочки». «Звездочка» — это был авиационный мотор, на котором летали все наши штурмовики, истребители — это было его создание. Он был совершенно исключительный человек, лауреат Сталинских премий. Я помню, как однажды, это был, видимо, уже 1944-й или 1945 год, было опубликовано в «Правде»

постановление о присуждении Сталинских премий, и его там почему-то не оказалось. Через день или два, как рассказывали, по распоряжению Сталина, было принято специальное решение, и он получил Сталинскую премию первой степени, то есть высшую, за свой очередной мотор. Его очень ценили.

Я рассказываю о нем потому, что он жил в нашем доме, и мы были знакомы домами. Я довольно часто у него бывал. Это был замечательно интересный человек, очень много читавший, очень много знавший. Он был любитель живописи, сам писал, довольно интересная живопись, пейзажная, в основном, да? И мы с ним очень много проводили какого-то времени в беседах, разговорах. Он был театрал, и вместе со мной тоже посещал и симфонические концерты, и балет. Я вспоминаю о нем, потому что он был один из первых, может быть, штатных моих учителей, от которого я взял какие-то вещи для себя на всю жизнь. Одна такая вещь была связана с тем, что, когда я его спросил однажды: «Аркадий Дмитриевич, как вообще можно создать авиационный мотор? Это же невероятно сложно!» Он говорит: «Нет. Если вы хорошо знаете свой предмет, знаете мотор, вы можете объяснить, как он работает, пятилетнему ребенку». Это я запомнил на всю жизнь. Я понял, что всякую вещь, если ты хорошо ее знаешь, ты можешь объяснить пятилетнему ребенку. Это не значит, что надо писать как для пятилетнего ребенка, но этот идеал надо иметь всегда в голове и по этому ориентиру выстраивать то, что ты делаешь. Он научил меня еще каким-то вещам, каким-то фокусам забавным, основанным на использовании центра тяжести. Скажем, вилка с ножом на спичке могут стоять на краю стакана. Я этот фокус часто показывал потом своим друзьям и знакомым, их всегда это поражает: каким образом это может быть. А все дело в том, что просто надо найти центр тяжести, который позволит сцепленным ножу и вилке держаться на спичке. Это о Швецеве.

Любовь к музыке и семейная драма

Должен сказать, что как раз в Перми пришла мне, вместе с театром и симфонической музыкой, с концертами и балетом, любовь к музыке. Я продолжал заниматься скрипкой, и учил меня профессор Римский, вторая скрипка Кировского театра. Потом мы встречались с ним, у него были замечательные ученики, он возил их на всякие конкурсы. Ну а мной он занимался, потому что это был приработок. Мать его очень обихаживала в этом смысле. Но мне это было уже интересно, я занимался с удовольствием. Более того, в Перми я попросил мать, чтобы она мне взяла учителя фортепиано. В течение двух лет я научился немножко играть и на фортепиано. Помню, что, когда кончил этим заниматься, я кончил «Турецким маршем» Моцарта. Значит, я все-таки мог уже его исполнять. И это мне очень нравилось.

Последнее, что я хотел бы добавить, говоря о своей пермской жизни, что кончился этот период довольно печально. Когда отца перевели в Москву, а перевели его, когда я был в девятом... семья решила, что нечего меня вырывать из молотовской школы, что я должен доучиться там в девятом классе, а потом уже, после этого переехать в Москву. Я остался с матерью и с другими детьми, а отец уехал. И тут началась семейная драма, потому что у отца в Москве появилась другая женщина. Мать узнала об этом, и это было тяжелое переживание. Я помню, что четко сказал тогда матери: «В любом случае я останусь с тобой».

Московская школа и ее учителя

Когда мы переехали в Москву в 1948 году, и на этом я закончу наш сегодняшний урок, с вашего позволения, отцу дали квартиру на Кутузовском проспекте, в доме, в котором потом жил Брежнев. Я поступил в 666-ю школу, кажется, которая напротив была. Помню, когда мы пришли в эту школу записываться, директор снисходительно, как бы сочувствуя мне, сказал: «Имейте в виду, что у нас обычно отличники провинциальные — я был вроде бы отличником — садятся сначала на тройки, не больше. Так что вы этого не бойтесь». Это меня жутко задело, потому что я был амбициозный мальчик. И я в первую же четверть вышел круглым отличником. Я зверски занимался. А уровень школы был действительно куда выше, чем то, что я имел в Перми. У нас был замечательный математик, замечательная химичка. Математик, который в моей жизни сыграл большую роль, чем все преподаватели

литературы, вместе взятые. Он научил меня логическому мышлению. Он любил красивые решения задач, самые простые, самые красивые. Эту любовь он мне привил, и я перенес это на свою профессию. Был замечательный физик, который диктовал нам свой учебник физики. Все школьные обычные учебники отставлялись в сторону, и каждый урок он нам диктовал. Это был замечательный учебник, очень просто изложенный, вполне в соответствии с заветами Вениамина Ильича, нашего математика. Замечательная химичка была, я с ней дополнительно занимался, потому что те вещи, которые она от нас требовала, которым нас учила, — в молотовской школе об этом даже не слышали.

Тем не менее уже в первой четверти я был отличником и кончил школу с золотой медалью — тоже из чистых амбиций, из чистого честолюбия. Но я очень много занимался. Когда я кончал десятый класс, это был год усиленного самообразования. Я много ходил по музеям: в Третьяковку, Музей изобразительных искусств, проводил там много времени. Театры, консерватория... В общем, все, что можно было взять от Москвы, я старался взять, потому что это был период становления. Я уже понимал, что выбор жизненного пути — это вещь очень ответственная, серьезная, и искал разные возможности.

Кем я буду, куда поступлю — я еще не знал в начале десятого класса. К концу десятого класса уже знал, что поступлю на филологический факультет, потому что дополнительно изучал тогда, скажем, критику XIX века, — мне это показалось настолько увлекательным и интересным, что я подумал, что эта профессия мне вполне может подойти. Хотя до этого я думал, что, может быть, буду дипломатом, и что-то еще такое. Ну а в самом раннем детстве — летчиком, конечно.

Остановился я на филологическом факультете, и летом 1948 года я сдал — не экзамены, потому что кончил с золотой медалью, — это было собеседование. Но это было серьезное собеседование: мне задали около сорока вопросов. Я поступил, уехал с младшими детьми в Уменицы и попробовал себя на крепость с точки зрения алкоголя. На чем мое образование в этой области, думаю, закончилось. Я тогда на этом сегодня остановлюсь.

Е.Г.: Спасибо, Игорь Иванович.

И.В.: В следующий раз расскажу об Университете, это будет уже немножко другое.